

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	
Отель «Винслоу» и его обитатели	5
ГЛАВА ВТОРАЯ	
Я — басбой	34
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	
Другие и Раймон	60
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	
Крис	91
ГЛАВА ПЯТАЯ	
Кэрол	113
ГЛАВА ШЕСТАЯ	
Соня	138
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	
Там, где она делала любовь	158
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	
Лус, Алешка, Джонни и другие	184
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ	
Розанна	221
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ	
Леопольд Сенгор и Бэнжамэн	254
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ	
Я делаю деньги	269
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ	
Мой друг — Нью-Йорк	293
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ	
Новая Елена	318
Эпилог	353

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отель «Винслоу» и его обитатели

Проходя между часом дня и тремя по Мэдисон-авеню, там, где ее пересекает 55-я улица, не поленитесь, задержите голову и взгляните вверх — на немытые окна черного здания отеля «Винслоу». Там, на последнем, 16-м этаже, на среднем, одном из трех балконов гостиницы, сию полуголый я. Обычно я ем щи и одновременно меня обжигает солнце, до которого я большой охотник. Щи с кислой капустой — моя обычная пища, я ем их кастрюлю за кастрюлей, изо дня в день, и, кроме щей, почти ничего не ем. Ложка, которой я ем щи, — деревянная и привезена из России. Она разукрашена золотыми, алыми и черными цветами.

Окружающие офисы своими дымчатыми стеклами — стенами — тысячью глаз клерков, секретарш и менеджеров глазят на меня. Почти, а иногда вовсе голый человек, едящий щи из кастрюли. Они, впрочем, не знают, что это щи. Видят, что раз в два дня человек готовит тут же, на балконе, в огромной кастрюле на электрической плитке что-то варварское, испускающее дым. Когда-то я жрал еще курицу, но потом жрать курицу перестал.

Преимущества щей такие, их пять:

1. Стоят очень дешево, два-три доллара обходится кастрюля, а кастрюли хватает на два дня!
2. Не скисают вне холодильника даже в большую жару.
3. Готовятся быстро — всего полтора часа.
4. Можно и нужно жрать их холодными.
5. Нет лучше пищи для лета, потому как кислые.

Я, задыхаясь, жру голый на балконе. Я не стесняюсь этих неизвестных мне людей в офисах и их глаз. Иногда

я еще вешаю на гвоздь, вбитый в раму окна, маленький зеленый батарейный транзистор, подаренный мне Алешкой Славковым — поэтом, собирающимся стать иезуитом. Увеселяю принятие пищи музыкой. Предпочитаю испанскую станцию. Я не стеснительный. Я часто вожусь с голой жопой и бледным на фоне всего остального тела членом в своей неглубокой комнатке, и мне плевать, видят они меня или не видят, клерки, секретарши и менеджеры. Скорее, я хотел бы, чтобы видели. Они, наверное, ко мне уже привыкли и, может быть, скучают в те дни, когда я не выползаю на свой балкон. Я думаю, они называют меня — «этот крейзи напротив».

Комнатка моя имеет 4 шага в длину и 3 в ширину. На стенах, прикрывая пятна, оставшиеся от прежних жильцов, висят: большой портрет Мао Цзэдуна — предмет ужаса для всех людей, которые заходят ко мне; портрет Патриции Херст; моя собственная фотография на фоне икон и кирпичной стены, а я с толстым томом — может быть, словарь или Библия, — в руках и в пиджаке из 114 кусочков, который сшил сам — Лимонов, монстр из прошлого; портрет Андре Бретона, основателя сюрреалистической школы, который я вожу с собой уже много лет (его обычно никто из приходящих ко мне не знает); призыв защищать гражданские права педерастов; еще какие-то призывы, в том числе плакат, призывающий голосовать за «Рабочую партию кандидатов»; картины моего друга художника Хачатуряна; множество мелких бумажек. В изголовье кровати у меня плакат — «За Вашу и Нашу свободу», оставшийся от демонстрации у здания «Нью-Йорк таймс». Дополняют декоративное убранство стен две полки с книгами. В основном — поэзия.

Я думаю, вам уже ясно, что я за тип, хотя я и забыл представиться. Я начал трепаться, но не объявил вам, кто я такой, я забыл, заговорился, обрадовался возможности,

наконец, обрушить на вас свой голос, а кому он принадлежит — не объявил. Простите, виноват, сейчас все исправим.

Я получаю вэлфер. Я живу на вашем иждивении, вы платите налоги, а я ни хуя не делаю, хожу два раза в месяц в просторный и чистый офис на Бродвее, 1515, и получаю свои чеки. Я считаю, что я подонок, отброс общества, нет во мне стыда и совести, потому она меня и не мучит, и работу я искать не собираюсь, я хочу получать ваши деньги до конца дней своих. И зовут меня Эдичка. И считайте, что вы еще дешево отделались, господа. Рано утром вы вылезаете из своих теплых постелей и, кто в автомобилях, кто в сабвее и автобусе, спешите на службу. Я службу ненавижу — жру свои щи, пью, иногда напиваюсь до беспомысленства, ищу приключений в темных кварталах, имею блестящий и дорогой белый костюм, утонченную нервную систему, я вздрагиваю от вашего утробного хохота в кино-театрах и морщу нос.

Я вам не нравлюсь? Вы не хотите платить? Это еще очень мало — 278 долларов в месяц. Не хотите платить. А на хуя вы меня вызвали, выманили сюда из России, вместе с толпой евреев? Предъявляйте претензии к вашей пропаганде, она у вас слишком сильная. Это она, а не я, опустошает ваши карманы.

Кто я там был? Какая разница, что от этого меняется. Я, как всегда, ненавижу прошлое во имя настоящего. Ну я был поэт, поэт я был, раз уж вам хочется знать, кто, неофициальный поэт был, подпольный, было да сплыло, а теперь я один из ваших, я подонок, я тот, кого вы кормите щами, кого вы поите дешевым и дрянным калифорнийским вином — 3,59-галлоновая бутылка, а я все равно вас презираю. Не всех, но многих. За то, что живете вы скучно, продали себя в рабство службе, за ваши вульгарные клетчатые штаны, за то, что вы делаете деньги и никогда не видели света. Дерьмо!

Я немного разошелся, чуть вышел из себя, простите. Но объективность мне не свойственна, к тому же сегодня хуевая погода, моросит мелкий дождь, серо и скучно в Нью-Йорке — пустые уик-эндные дни, мне некуда идти, может быть, поэтому я и соскочил со своего обычного настроения и стал вас уж слишком обзывать. Извиняюсь. Живите пока и молитесь Богу, чтобы я как можно дольше не овладел правильным английским языком.

Отель «Винслоу» — это мрачное, черное 16-этажное здание, наверное, самое черное на Мэдисон-авеню. Надпись сверху вниз по всему фасаду гласит «ВИНСЛ У» — выпала буква О. Когда? Может быть, 50 лет назад. Я поселился в отеле случайно, в марте, после моей трагедии, меня оставила моя жена Елена. Измученный шатаниями по Нью-Йорку, со стоптанными и разбитыми в кровь ногами, ночуя каждый раз на новом месте, порой на улице, я был, наконец, подобран бывшим диссидентом и бывшим конюхом московского ипподрома, самым первым стипендиатом Вэлферовской премии (он гордится, что первым из русских освоил вэлфер) — толстым, неопрятным и сопящим Алешкой Шнеерзоном Спасителем, отведен в вэлфер-центр на 31-й улице за руку и в один день экстренно получил пособие, которое хотя и опустило меня на дно жизни, сделало бесправным и презируемым, но я ебал ваши права, зато мне не нужно добывать себе на хлеб и комнатенку и я могу спокойно писать свои стихи, которые ни здесь, в вашей Америке, ни там, в СССР, на хуй не нужны.

Так как же все-таки я попал в «Винслоу»?

Друг Шнеерзона, Эдик Брутт, жил в «Винслоу», там же, через три двери от него, стал жить и я. Шестнадцатый этаж весь состоит из клеток, как, впрочем, и многие другие этажи. Когда я, знакомясь, называю место, где я живу, на меня смотрят с уважением. Мало кто знает, что в таком месте еще сохранился старый грязный отелишко, населенный бедными

стариками и старушками и одинокими евреями из России, где едва ли в половине номеров есть душ и туалет.

Несчастье и неудача незримо витают над нашим отелем. За то время, как я живу в отеле, две пожилые женщины выбросились из окна, одна из них — француженка, как мне говорили, с еще сохранявшим следы красоты лицом, все безутешно расхаживала по коридору, — она выбросилась со своего 14-го этажа во двор, в колодец. Кроме этих двух жертв, совсем недавно Бог прибрал хозяйку, вернее, мать хозяина, огромного слоноподобного еврея в тюбетейке, с ним я познакомился как-то на парти у моей американской подруги Розанн. Мать хозяина, как все старые женщины, любила распоряжаться в отеле, хотя хозяину нашего грязненького заведения принадлежат еще 45 домов в Нью-Йорке. Почему ей доставляло удовольствие торчать тут целый день и указывать рабочим отеля, что им делать, не знаю. Может быть, она была садисткой. Недавно она исчезла. Ее нашли только под вечер, в шахте лифта, измятый и изуродованный труп. Дьявол живет рядом с нами. Насмотревшись фильмов про экзорцистов, я начинаю думать, что это дьявол. Из моего окна виден отель «Сан-Реджис Шератон». Я с завистью думаю об этом отеле. И безосновательно мечтаю переселиться туда, если разбогатею.

К нам, людям из России, в отеле относятся так, как некогда относились к черным до отмены рабства. Белье нам меняют куда реже, чем американцам, ковер на нашем этаже не чистили ни разу за все время, пока я здесь живу, он ужасающе грязный и пыльный, иногда старый графоман-американец из номера напротив, тот, что все стучит на машинке, выходит в трусах, берет метлу и в качестве зарядки бодро выметает ковер. Я все хочу ему сказать, чтобы он не делал этого, так как он только подымает в воздух пыль, а ковер все равно остается грязным, но мне жаль лишать его физического упражнения. Иногда, когда я напиваюсь,

он, американец этот, кажется мне агентом «ЭфБиАй», приставленным, чтобы следить за мной.

Простыни и полотенца нам дают самые старые, свой туалет я мою сам. Короче — мы люди последнего сорта.

Персонал отеля считает нас, я думаю, никчемными лодырями, приехавшими объедать Америку — страну честных тружеников, остриженных под полубокс. Это мне знакомо. В СССР тоже все пиздели о тунеядцах, о том, что нужно приносить пользу обществу. В России пиздели те, кто меньше всех работал. Я писатель уже десять лет. Я не виноват, что обоим государствам мой труд не нужен. Я делаю мою работу — где мои деньги? Оба государства пиздят, что они устроены справедливо, но где мои деньги?

Менеджер отеля — темная дама в очках с польско-русской фамилией — миссис Рогофф, которая когда-то приняла меня в отель по протекции Эдика Брутта, терпеть меня не может. На хуя была нужна протекция, когда в отеле полно пустых номеров, кто станет жить в таких клетках, неизвестно. Придаться миссис ко мне трудно, но ей очень хочется. Иногда она находит случай. Так, если первые месяцы я платил за свой номер два раза в месяц, то через некоторое время она вдруг потребовала, чтобы я платил за месяц вперед. Формально она была права, но мне было куда удобнее платить два раза в месяц, в те дни, когда я получаю свой вэлфер. Я ей сказал об этом. «А покупать белые костюмы и пить шампанское ты можешь, у тебя на это есть деньги?» — сказала она.

Я все думал, какое шампанское, что за шампанское она имеет в виду. Иногда я пил калифорнийское шампанское, чаще всего я делал это совместно с Кириллом, моим приятелем — молодым парнем из Ленинграда, но откуда она могла это знать? Мы обычно пили шампанское в Централ-парке. Только спустя некоторое время я вспомнил, что, собираясь на день рождения к своему старому приятелю

художнику Хачатуряну, это тот, чьи картины висят у меня в моей клетке, — я купил, действительно, бутылку Советского шампанского за десять долларов и положил ее в холодильник, чтобы вечером отправиться с ней на торжество. Миссис Рогофф, очевидно, лично каждый день проверяла мой холодильник, или это делала по ее поручению горничная, убирающая (не убирающая) мой номер. «Вы получаете вэлфер», — сказала тогда миссис Рогофф. «Бедная Америка!» — воскликнула она патетически. «Это я бедный, а не Америка», — ответил я ей тогда.

Причины ее неприязни ко мне позже выяснились окончательно. Когда она брала меня в отель, она думала, что я еврей. Потом, вдоволь наглядевшись на мой синий, с облупленной эмалью крестик, мое единственное достояние и украшение, она поняла, что я не еврей. Некто Марат Багров, бывший работник московского телевидения, тогда еще живший в «Винслоу», сказал мне, что миссис Рогофф жаловалась ему на Эдика Брутта, обманувшего ее и приведшего русского. Так, господа, я на собственной шкуре испытал, что такое дискриминация. Я шучу — евреи живут в нашем отеле не лучше, чем я. Я думаю, куда больше того, что я не еврей, миссис Рогофф не нравится то, что я не выгляжу несчастным. От меня требовалось одно — выглядеть несчастным, знать свое место, а не расхаживать то в одном, то в другом костюме на глазах изумленных зрителей. Я думаю, что она с большим удовольствием смотрела бы на меня, если бы я был грязным, сгорбленным и старым. Это успокаивает. А то вэлферист в кружевных рубашках и белых жилетах. Летом я, впрочем, носил белые брюки, деревянные босножки на платформе и маленькую обтягивающую меня рубашку — минимум на себе имел. Миссис Рогофф и это раздражало. Встретившись как-то со мной в лифте, она сказала мне, с подозрением глядя на мои босножки и загорелые босые ноги:

— Ю лайк хиппи. Рашен хиппи, — добавила она без улыбки.

— Нет, — сказал я.

— Да, да, — убежденно сказала она.

Остальной персонал отеля относится ко мне так-сяк. Хорошие отношения у меня только с японцем, или, может, он китаец, я не очень разбираюсь, но он всегда мне улыбается. Еще я здороваюсь с индийцем в тюрбане, он тоже приятен для моих глаз. Все остальные в разной степени провинились передо мной, и я с ними разговариваю, только если плачу деньги или прошу дать мне письмо либо телефонный месседж.

Так я живу. Дни катятся за днями, напротив отеля на Мэдисон уже почти совсем разрушили целый блок домов и будут строить американский небоскреб. Кое-кто из евреев, и полуевреев, и выдающих себя за евреев уже съехал из отеля, на их место поселились другие. Держатся они как черные в своем Гарлеме, коммуной, по вечерам вываливаются на улицу и сидят возле отеля в оконных нишах, кое-кто потягивает из пакетиков напитки, разговаривают о жизни. Если холодно, они собираются в холле, занимая все скамейки, и тогда стоит в холле шум и говор. Администрация отеля борется с коммунальными привычками выходцев из СССР, с их пристрастием к цыганщине, но безуспешно. Заставить их не собираться и не сидеть перед отелем невозможно. И хотя, очевидно, такое деревенское сидение отпугивает от отеля возможных жертв, которые вдруг да и забредут сюда, теперь, кажется, администрация махнула на них рукой — что с ними сделаешь.

Я не очень-то имею с ними отношения. Я никогда не останавливаюсь, ограничиваясь словами «Добрый вечер!» или «Общий привет!». Это не значит, что я отношусь к ним плохо. Но на своем веку, в моей бродячей жизни я видел так много разнообразных русских и русско-еврейских

людей, а это, на мой взгляд, одно и то же, что они мне неинтересны. Порой в евреях «русское» проступает куда более явно, чем в настоящих русских.

Тут уместно будет рассказать о Семене. Он был седой еврейский парень, которого я и моя бывшая жена Елена встретили в Вене. Семен этот предложил Елене работу. Она должна была трудиться по ночам в принадлежащем Семену ночном баре «Тройка», расположенном рядом с собором Святого Стефана и борделем, подавать богатым полуночникам алкоголь и икру. Зарплата была обещана столь высокая, что я сразу подумал: «Семену нужна была не барменша Елена — он метил выше, — он явно хотел выпасться с ней». Впрочем, я не обиделся, тогда я верил своей жене, а она еще любила меня, и я был совершенно спокоен.

Я, конечно, не позволил Елене работать ночью, я вообще не хотел, чтобы она работала, но, познакомившись с Семеном, мы нашли, что он приятный парень, и несколько раз встречались с ним в его «Тройке», а потом в ресторане, который он купил на паях с еще двумя дельцами.

Семен был из Москвы, потом жил в Израиле, он умел делать деньги, сумел и из СССР вывезти деньги, он процветал. И только в последний наш вечер в Вене, который мы провели в его ресторане, он открылся нам по-настоящему, когда напился и, полупьяный, заговорил:

— У меня здесь было много женщин, но ни одна не была мне интересна, они холоднокровные, они ужасны, я их боюсь, все в них меня отталкивает. Я боюсь их, ей-богу.

Потом Семен заговорил о русских женщинах, о Москве. Мне тогда было странно слушать его. Впоследствии я наслушался ностальгических монологов и в Италии, и в Америке, но произносящие их были неудачливые эмигранты, не имеющие работы, не знающие, куда ступить и с чего начать. Семен знал, его дорогой ресторан, в котором мы сидели, — был тому свидетельством. Он подарил тогда

Елене розы, их смешно и трогательно разносила женщина в платке, это была маленькая, уютная и сентиментальная Европа, а не огромная металлическая Америка, там ходили женщины и разносили розы. Мы пили водку, Семен заказал оркестру «Полюшко-поле», и я увидел, что он плачет и слезы его капают в бокал с водкой. «Мы смеялись над понятием “Родина”, — сказал Семен, — и вот я сижу, и играют эту песню, и у меня болит душа, какой я, к черту, еврей — я русский».

Потом он в своем синем мощном автомобиле вез нас над Веной, где были какие-то увеселительные заведения, мы выходили и смотрели сверху на город. Он очень быстро ездил и много пил. Уже в Америке я узнал, что он разбился на машине. Насмерть.

Это, конечно, частная судьба, господа, я рассказал о ней только потому, что не делю выходцев из СССР на русских и евреев. Все мы русские. Привычки, все разъедающие привычки моего народа въелись в них и, может быть, разрушили. Во всяком случае, по себе грустно знаю, что русские привычки не приносят счастья.

Так я не останавливаюсь с ними у отеля, а иду в свой номер. О чем с ними говорить — об их несчастьях, о том, как они устают, работая на такси или еще где. Недавно выдав им «Общий привет!», я проходил мимо них в Нью-Йорк. Какой-то новый парень, по виду грузинский еврей, или, скорее всего, натуральный грузин, замаскировавшийся под еврея, чтобы уехать, крикнул мне вдогонку: «А ты что, тоже русский?»

— Я уже забыл, кто я на самом деле, — не останавливаясь, сказал я.

Возвращаясь часа через два обратно, я опять проходил мимо них уже из Нью-Йорка. Тот же усатый и чернявый сказал обиженно, увидев меня: «А ты что, разбогател, что не хочешь остановиться, поговорить». Это меня рассмешило, я засмеялся, но все же не остановился, чтобы

не давать повода для знакомства. У меня и без того слишком много русских знакомых. Когда сам находишься в хуевом состоянии, то не очень хочется иметь несчастных друзей и знакомых. А почти все русские несут на себе печать несчастья.

По какой-то подавленной тоске во всей фигуре их можно узнать со спины. Почти не общаясь с ними, я всегда узнаю их в лифте. Подавленность — основная их примета. Между первым и 16-м этажом они успевают заговорить с вами, узнать, не будут ли давать к двухсотлетию Америки всем новым эмигрантам поголовно американское гражданство, может быть, попросят сочинить петицию президенту по этому поводу. На хуй им гражданство, они сами не знают.

Или разговор может принять противоположное направление.

— Слышал, в октябре впускать будут?

— Куда впускать? — спрашиваю я.

— Ну как куда, в Россию. Пилот-то удрал из СССР на истребителе, теперь нас обратно запустят, чтобы уравновесить, понимаешь? Один удрал, а две тысячи пустят обратно. Две тысячи хотят обратно. А половина заявлений начинается с того, что люди просят прямо с самолета отправить их в лагерь, что они хотят отсидеть за свое преступление, за то, что они уехали с Родины. А ты не собираешься назад? Тебя еще как возьмут, я слышал, тебя опять и в «Правде», и в «Известиях» пропечатали?

— Да уж давно это было, еще в июне, — говорю я. — Из лондонской «Таймс» кусок перевели, да и тот извратили. Нет, я не собираюсь, мне там делать нехуй. Да и стыдно возвращаться. Засмеют. Я не поеду, я никогда не иду назад.

— Ты еще молодой, — говорит он. — Попробуй, может, пробьешься. А я поеду, — продолжает он тихо. — Я, понимаешь, там впал в амбицию, слишком много о себе возомнил, а вот приехал и увидел, что ни на что не способен.

Покоя хочу. Куда-нибудь в Тульскую область, домишко, рыбки половить, ружьишко, учителем в сельскую школу пристроиться. Здесь ад, — говорит он. — Нью-Йорк — город для сумасшедших. Я поеду, довольно я здесь помыкался. Свободы у них тут ни хуя нет, попробуй что на работе смелое скажи. Без шума вылетишь, тихо.

Он работал, в основном мыл посуду в разных местах. Получает анэмплоймент*, 47 долларов в неделю. Живет на весте в восьмидесятых улицах, в отеле он был у приятеля.

— В шахматы играешь? — спрашивает он меня, прощаясь.

— Терпеть не могу, — отвечаю я.

— А водку пьешь?

— Водку пью, — говорю я, — хоть и не часто сейчас.

— Не пьется здесь, — жалуется он. — Бывало, прирмешь 700 граммов с закусочкой, летишь по Ленинграду как на крыльях, и весело тебе и хорошо. Здесь выпьешь — только приглушит, хуже еще. — Заходи, — говорит он, — борщом угощу.

В отличие от меня, он варит борщи, употребляя для этого какую-то особую свеклу. Они все жалуются, что здесь не пьется. Пьется, но не так, алкоголь подавляет — я, пожалуй, скоро пить брошу.

Когда-то я работал в Нью-Йорке в газете «Русское Дело» — и тогда меня интересовали проблемы эмиграции. После статьи под названием «Разочарование» убрали меня из газеты, от греха подальше. Тогда мне было уже не до проблемы эмиграции. Трещала семья, в муках умирала любовь, которую я считал Великой, я сам был едва жив. Венчало все эти события кровавое 22 февраля, вены, взрезанные в подъезде фешенебельного модэл-эйдженси «Золи», где тогда жила Елена, потом недельная жизнь бродяги

* Пособие по безработице (англ.).

в даунтауне Манхэттена. Однако, очутившись в отеле, вернее, очнувшись, я вдруг увидел, что моя дурная слава не умерла, ко мне звонили и приходили люди, еще по советской привычке твердо веруя, что журналист сможет им помочь. «Полноте, милые, какой я журналист — без газеты, без друзей и связей». Я всячески увиливал, если мог, от этих встреч, говорил им, что сам себе не могу помочь, но некоторых встреч мне все же не удалось избежать. Так, например, мне пришлось встретиться с дядей Сашей, на этом настаивали мои знакомые.

— Ты должен ему помочь, он старик, поговори с ним хотя бы, ему станет легче.

Я пошел к нему в номер. Комната у него была такая, как будто он живет с собакой. Я искал глазами собаку, но собаки не было.

— У вас, кажется, была собака? — спросил я его.

— Нет, никогда, — сказал он испуганно, — вы меня с кем-то перепутали.

Как же, перепутал, на полу валялись кости, сухарики, корки, объедки сплошным твердым слоем, как галька на морском берегу. Точно такой же слой окаменевших остатков пищи был на столе, на шкафу, на подоконнике, на всех горизонтальных плоскостях, даже на сиденьях стульев. Он был обыкновенный полный жалкий старик с морщинистым лицом. Мне было известно о нем, что он всю жизнь свою писал о море и морях. Печатал в журнале «Вокруг света» и других советских журналах рассказы о море.

— Я хотел с вами встретиться, — говорил он, вздыхая, — у меня отчаянное положение, что делать, не знаю — я так тоскую по жене, она у меня русская. — Он показывает фотографию под стеклом — на меня глядит уставшая женщина. — Зачем меня сюда принесло, — продолжает он. — Я неспособен выучить язык. Живу очень плохо — я получал вэлфер — 280 долларов в месяц, теперь у меня

подошел пенсионный возраст и дали мне пенсию — всего 218 долларов. Я получил два чека, и как порядочный человек пошел в свой вэлфер-центр и сказал им: «Вот два чека, но я не хочу пенсию, я хочу вэлфер. Мой номер стоит 130 долларов, на питание мне остается только 88 долларов в месяц, я не могу так, я умру с голоду, у меня плохой желудок». Я честно пришел, сказал, вернул чек. Они говорят: «Мы ничего не можем сделать. По закону вы должны получать пенсию». Он чуть не плачет.

— А зачем вы сюда ехали? — злобно говорю я.

— Понимаете, я всегда о море писал. Как корабль придет — я сразу на корабль. Меня моряки любили. О странах всяких рассказывали. Захотелось повидать. Как же мне быть? — заглядывает он мне в глаза. — Я хочу к жене, она у меня такая хорошая. — Он плачет.

— Поезжайте в советское посольство в Вашингтоне, — говорю я ему, — может, они вас и пустят обратно. Хотя точно сказать нельзя. Попроситесь, поплачьте. Вы ничего здесь против них не писали?

— Нет, — говорит он, — только рассказ в журнале по-английски мой о море напечатают скоро, но не антисоветский, о море. Послушайте, а они меня не посадят? — говорит он мне, беря меня за рукав.

— Слушайте, зачем им вас сажать...

Я хотел добавить, что кому он на хуй нужен, и еще что-то едкое, но сдержался. У меня не было к нему жалости. Я сидел перед ним на его грязном стуле, с которого он смел рукой крошки и пыль, он сидел на кровати, передо мной торчали его старые ноги в синих тапочках, мне он был неприятен — неопрятный глупый старик. Я был человек другой формации, и хотя я сам часто приглушенно рыдал у себя в номере, мне до пизды была бы эмиграция, если бы не Елена. Убийство любви, мир без любви был мне страшен. Но я сидел перед ним худой, злой, загорелый, в джинсиках

и курточке в обтяжку, с маленькими, заломившимися при сидении бедрами, стусок злости. Я мог ему пожелать стать таким, как я, и сменить его страхи на мои злобные ужасы, но он же не мог стать таким, как я.

— Вы думаете, пустят? — заискивающе произнес он.

Я был уверен, что не пустят, но надо же было его утешить. Я ничего о нем не знал, кроме того, что он говорил сам, может, он не такой безобидный, каким предстает в своем сегодняшнем положении.

— Я хочу вас попросить, — говорит он, видя, что я встаю со стула, — никому не говорите о нашем разговоре. Пожалуйста.

— Не скажу, — говорю я. — Вы извините, но меня ждут.

Синие тапочки передвигаются со мной за дверь. В лифте я облегченно вздыхаю. Еб его, дурака, мать.

О разговоре с ним я рассказал все-таки Левину. Из озорства.

Давид Левин внешне похож на шпиона или провокатора из советских лубочных фильмов. Я не мастер портретов, самое характерное в его физиономии — лысина, только по бокам головы присутствует какая-то окаймляющая растительность. Я не был с ним знаком, но мне передавали, что он обо мне заочно говорит какие-то гадости. Он величайший сплетник, этот Левин. Мне Леня Косогор из 2-го тома «ГУЛАГа» говорил. Мне было так глубоко наплевать на всю русскую эмиграцию, старую, новую и будущую, что я только смеялся. Но когда я вселился в отель, он, к моему удивлению, однажды остановил меня и сказал с укором, что я высокомерен и не хочу с ним побеседовать. Я сказал, что я не высокомерен, но что сейчас спешу, а вернусь через пару часов и зайду к нему. Зашел.

Для мало-мальски разумного русского человека другой человек из России не загадка. Тысячи примет указывают сразу на то, что этот человек и кто он. Левин производит

на меня впечатление человека, который вот-вот ударится в истерику и заорет. Что он заорет, я заранее знаю. Приблизительно это будет следующая фраза: «Уйди, сука, что вылупился, счас, бля, гляделки повыдавливаю, устрица поганая!» Эта фраза из уголовного быта заключает в себе все мое впечатление от Левина. Я не знаю подробно его жизни, но я подозреваю, что, возможно, он сидел в СССР в тюрьме за уголовщину. А может — нет.

Он говорит о себе, что он журналист. Но из статей Левина, напечатанных все в том же «Русском Деле», лезет на свет божий всякое дерьмо типа утверждений, что в СССР в хороших новых домах живут только кагэбэшники, и прочие басни. Сейчас он говорит о себе, что он журналист из Москвы, а когда я видел его мельком один раз в Риме, он говорил, что он журналист из Архангельска. Все, что он рассказывает о себе, — двойственно. С одной стороны, он говорит, что в СССР очень хорошо жил, а в командировки на цековских самолетах летал, а с другой — что он страдал в СССР от антисемитизма. Живет он сейчас исключительно на деньги, которые получает от еврейских организаций или непосредственно от синагог. Тоже своего рода вэлфер. Когда-то ему сделали операцию на брюшной полости, мне кажется, он использовал свое несчастье как средство качать деньги из американских евреев. Мне он как до пизды дверцы не нужен, что может быть интересного в пятидесятилетнем человеке с плохим здоровьем, живущем в дерьмовом отеле и пишущем драму «Адам и Ева», которую он мне стыдливо читал. Я тоже стыдливо — даже Левина мне жалко было обидеть — сказал ему, что такая литературная форма мне не близка и потому ничего не могу я сказать о его произведении. Не мог же я сказать ему, что его «Адам и Ева» — это не литературная форма, а форма охуения от западной жизни, в которую он, как и все мы, вступил по приезде сюда. Он еще хорошо держится, другие сходят с ума.

Еще в первой беседе Левин полил грязью весь отель, всех его обитателей, но видно было, что одному ему хуево и он время от времени прибивается к кому-то. Прибился он и ко мне, взял меня с собой в синагогу на концерт, познакомил меня с маленькой еврейской женщиной, говорящей по-русски, я впервые присутствовал на службе в синагоге, причем с интересом и благоговением отсидел всю службу, вел себя чинно и внимательно, в то время как Левин без умолку трепался со старушкой. Я, может, и вступил бы благодаря Левину в тот мир, но мне было там скучно, еврейские семейные обеды, на которые меня пригласили бы, меня мало устраивали. Я люблю фаршированную рыбу и фаршмак, но больше тянусь к фаршированной взрывчатке, съездам и лозунгам, как вы впоследствии увидите. Эдичке нормальная жизнь скучна, я от нее в России шараялся, и тут меня в сон и службу не заманите. Хуя.

Несколько раз Левин приходил ко мне и после этого, и хотя я усиленно вживлял в себя человеколюбие и считал, что всех несчастных нужно жалеть, а Левин попадал под мое понимание «несчастливого человека» и мне его, несмотря на его злобность, было действительно жалко, знакомство с ним пришлось прекратить. Все, что он видел у меня, и все, что я ему говорил, заранее рассчитывая, что он унесет все это и размножит, и раздует, и искривит, — он ухитрился увеличить гиперболически и глупо. Портрет Мао Цзэдуна на стене превратился в мое вступление в китайскую партию. Что за китайская партия, я не знал, но нужно было сократить количество русских, и Левин попал под сокращение, бедная злобная жертва. Я здороваюсь с ним и иногда полминуты что-то вру ему. Он не верит, но слушает, а потом я ухожу. «Дела, — говорю я, — дела ждут».

Сорванные с мест, без привычного окружения, без нормальной работы, опущенные на дно жизни люди выглядят жалко. Как-то я ездил на Лонг-Бич купаться, с яростным

евреем Маратом Багровым, этот человек умудрился выйти на контрдемонстрацию против демонстрации за свободный выезд евреев из СССР, идущей по 5-й авеню. Вышел он тогда с лозунгами «Прекратите демагогию!», «Помогите нам здесь!». Так вот, мы ехали на Лонг-Бич, Марат Багров вел машину, которую у него на следующий день украли, а бывший чемпион Советского Союза по велосипедному спорту Наум и я были пассажирами. Компания ехала в гости к двум посудомойкам, работающим там же, на Лонг-Бич в доме для синиор-ситизенс. Едва заглянув в полуподвальные комнаты, где жили посудомойки, один — бывший музыкант, другой — бывший комбинатор и делец, специалист по копчению рыбы, я влез через ограду на пляж, чтоб не платить два доллара.

Чайки, океан, туман соленый, похмелье. Я долго лежал один, не понимая, в каком я мире. Позднее пришли Багров и Наум. «Ебаная эмиграция!» — все время говорил 34-летний бывший чемпион.

— Когда я только приехал в Нью-Йорк, я пошел, чтобы купить газету, купил «Русское Дело», и там была твоя статья. Она меня как молотком ударила. Что я наделал, думаю, на хуя я сюда приехал.

Он говорит и роет в песке яму. «Ебаная эмиграция!» — его постоянный рефрен. Он работал уже в нескольких местах, на последней работе он ремонтировал велосипеды и устроил вместе с двумя другими рабочими — пуэрториканцем и черным — забастовку, требуя одинаковой оплаты труда. Одному из них платили 2,50 в час, второму — 3 и третьему — 3,50.

— Босс вызвал черного, и когда тот пришел, сказал: ты почему не работаешь, сейчас ведь рабочее время, — говорит Наум, продолжая механически копать яму. — Черный сказал боссу, что у него визит к доктору, потому он сегодня раньше ушел. Потом он спросил пуэрториканца, почему

он ушел с работы раньше. Тот тоже испугался и сказал, что ему сегодня нужно в социал-секьюрити. А я спросил босса, почему он не платит всем нам поровну, ведь мы работаем одинаково... — Наум горячится. — Черного он уволил, сказал — можешь идти. А я ушел сам, теперь работаю сварщиком — свариваю кровати, это очень дорогие модельные кровати. Я свариваю один раз, потом стачиваю шов, если на нем нет дырочек, раковин — хорошо, если есть, завариваю опять и опять стачиваю. Прихожу, вся голова в песке...

Живет Наум на Бродвее, на весте, там отель тоже вроде нашего, туда поселяют евреев. Я не знаю, какие там комнаты, но место там похуже, куда более блатное.

— Ебешься со своей черной? — спрашивает его Багров деловито.

— С той уже не ебуть, — отвечает Наум, — совсем обнаглела. Раньше пятерку брала, теперь 7,50. Это еще ничего бы, но однажды стучит ночью в два часа, я пустил — давай, говорит, ебаться. Я говорю, давай, но бесплатно. Бесплатно, говорит, не пойдет. Я говорю — у меня только десятка и больше денег нет. Давай, говорит, десятку, я тебе завтра сдачу принесу и бесплатно дам. Поебались — и пропала, на хуй, на неделю. А у меня денег больше не было. Пришла через неделю и деньги вперед требует, а о сдаче молчок. Иди, говорю, на хуй отсюда. А она вопит: «Дай два доллара, я сюда к тебе поднималась, мне портье дверь открывал и на лифте поднял, я ему два доллара пообещала за то, что пустил».

— И ты дал? — с интересом спрашивает Багров.

— Дал, — говорит Наум, — ну ее на хуй, связываться, у нее сутенер есть.

— Да, лучше не связываться, — говорит Багров.

— Ебаная эмиграция! — говорит Наум.

— Воровать надо, грабить, убивать, — говорю я. — Организовать русскую мафию.

— А вот напиши я им письмо, — не слушая меня, говорит Багров, — в Советский Союз, ребятам, так ни хуя не поймут. У меня приятель есть, спортивный парень, все мечтал на Олимпийские игры поехать. Вот напишу я ему, что я на своей машине ездил на Олимпийские игры в Монреаль — он же так завидовать будет. И еще, не работая, в Монреаль ездил, на пособие по безработице.

— Хуй ты ему объяснишь, что при машине и Монреале здесь можно в страшном говне находиться, это невозможно объяснить, — говорит Наум. — Ебаная эмиграция!

Да, не объяснишь. И он если б приехал, ему бы не до Монреаля было, тоже в говне сидел бы. Машина что, я за нее полторы сотни заплатил. Хуйня.

Закончив купание, — причем они, взрослые мужики, как дети кувыркались в волнах, чего я, Эдичка, долго не выдержал, — мы идем последние с пляжа, когда солнце уже садится, судача о том, что в Америке мало людей купается и плавает, большинство просто сидит на берегу или плещется, зайдя в воду по колено, в то время как в СССР все стремятся заплывать подальше, и ретивых купальщиков вылавливают спасательные лодки, заставляя плыть к берегу.

— В этом коренное отличие русского характера от американского. Максимализм, — смеясь, говорю я.

Мы идем к посудомойкам и в комнате одного из них устраиваем пир. Пир посудомоек, сварщика, безработного и вэлферовца. Еще несколько лет назад, соберись мы вместе в СССР, мы были бы: поэт, музыкант, спортсмен, чемпион Союза, миллионер (один из посудомоек, Семен, имел около миллиона в России) и известный на всю страну тележурналист.

— Менеджер сегодня весь день за нами наблюдал, он знал, что у нас гости, потому мы сегодня уперли меньше, чем всегда, пожрать, — оправдываются посудомойки.

Мы жрем прессованную курицу, оживленно беседуем, наливаем из полугаллоновой бутылки виски, мы торопимся, уже стемнело, а нам еще ехать в Манхэттен.

Музыкант работает здесь, чтобы скопить денег на билет в Германию, он хочет попробовать еще один вариант, может, там лучше. Его скрипка стоит в углу, заботливо укутанная поверх футляра в тряпки. Вряд ли мойка посуды способствует улучшению скрипичной техники. Вообще музыкант не совсем уверен, что он хочет в Германию. Есть у него и параллельное желание устроиться на либерийское судно матросом, а кроме того, он поехал бы в Калифорнию.

Как красочный показ того, что нас ожидает в будущем, появляется коллега посудомоек — старик украинец. Он получает за ту же работу 66 долларов чистыми в неделю.

— Он безответный, вот его босс и обдирает как хочет, к тому же он уже старый, так быстро, как мы, не может работать, — говорят посудомойки прямо при старике, нисколько его не стесняясь. Он смущенно улыбается.

Мы покидаем гостеприимных посудомоек и при все время понижающейся температуре воздуха отправляемся по прелестным американским дорогам в Нью-Йорк. Едем, злимся, ругаемся, хорохоримся, но скоро расстанемся, и каждый очутится с самим собой.

Отель «Винслоу». Я поселился здесь как будто на месяц, чтобы успокоиться и оглядеться, впоследствии я собирался снять квартиру в Вилледже или лофт* в Сохо. Теперь моя собственная наивность умиляет меня. 130 — вот все, что я могу платить. На такие деньги можно поселиться разве что на авеню Си или Ди. В этом смысле отель «Винслоу» — находка. Все-таки центр, экономия на транспорте, везде хожу пешком. А обитатели, ну что ж, с ними можно не общаться.

* Чердачное помещение (англ.).

Когда я пытался заставить себя спать с американской женщиной Розанной, это была часть разработанной мною программы вползания в новую жизнь, я возвращался домой очень поздно, в два, в полтретьего ночи. Иной раз у отеля стояли такси. В них восседали на водительских местах отельные постояльцы.

— Как дела? — спрашивал я.

— Да уже есть 32 доллара, — говорил мне обритый наголо человек, которого я знаю, но не помню, как его зовут. — Сейчас люди из кабаков будут возвращаться — стану развозить.

Подъезжает еще одно такси. Водители жалуются друг другу на отсутствие клиентов.

Одно время идти работать в такси было у них модно. Теперь мода немножко проходит. Во-первых, одного русского таксиста убили, это не очень-то приятно знать, когда сам работаешь в такси, кроме того, двоих парней из нашего отеля уволили за опоздание в парк.

Есть в нашем отеле и интеллигентные люди. Эдик Брутт, например, вегетарианец, и все время читает, пополняет свое образование. Он читает «Античную лирику» и Омара Хайяма, читает произведения Шекспира и «Китайскую философию», разумеется, по-русски. У Эдика, доброго, тихого парнишки с усами, есть американский друг — высокий человек лет сорока, знающий много языков, в остальном он похож на Эдика — с женщинами не общается, живет в свои сорок лет вместе с мамой. Этот американец по фамилии Бант часто возит Эдика куда-то слушать орган. Культурное развлечение. Я бы не высидел пяти минут. Эдику нравится. Уважаю.

Эдик был в Москве кинооператором или ассистентом кинооператора. Эдик живет тихо, кормит всех, кто приходит, дает деньги взаймы, последний доллар отдаст, и получает вэлфэр.

Другой интеллигент из нашего отеля — высокий белокурый человек 33 лет — поэт Женя Кникич. Как видите, фамилия у него типично ленинградская — изощренная. По специальности он филолог, защитил диссертацию на тему «Село Степанчиково и его обитатели» Достоевского, с точки зрения странности. Он варит в своей каморке, которая выходит в темный колодец двора, почки или сосиски, на кровати у него сидит некрасивая американская девочка, которая обучает его английскому, на стенах развешаны бумаги с написанными по-английски выражениями вроде «Я хочу работать». Это не соответствует действительности, Женя не очень хочет работать, он старается сейчас получить вэлфер. «Я серьезный ученый», — говорит он мне. Я думаю, он серьезный ученый, почему нет, только он и я понимаем, что его профессия серьезного ученого, специалиста по Гоголю и Достоевскому, преподавателя эстетики, никому тут на хуй не нужна. Тут нужны серьезные посудомойки, те, кто без всяких литературных размышлений будут выполнять черную работу. В литературе тут своя мафия, в искусстве своя мафия, в любом виде бизнеса — своя мафия.

В русской эмиграции — свои мафиози. Белокурый Женя Кникич не был готов к этому, как и я. Как и я в свое время, Женя работал в газете «Русское Дело» у одного из главных мафиози русской эмиграции — у Моисея Яковлевича Бородатых. Мафиози никогда не подпускают других к кормушке. Хуя. Дело идет о хлебе, о мясе и жизни, о девочках. Нам это знакомо, попробуй пробейся в Союз писателей в СССР. Всего изомнут. Потому что речь идет о хлебе, мясе и пизде. Не на жизнь, а на смерть борьба. За пёзды Елен. Это вам не шутка.

Иногда мной овладевает холодная злоба. Я гляжу из своей комнатки на вздымающиеся вверх стены соседствующих зданий, на этот великий и страшный город и понимаю, что все очень серьезно. Или он меня — этот город,

или я его. Или я превращусь в того жалкого старика украинца, который приходил к моим приятелям-посудомойкам на наш пир, к униженным и жалким, он — еще более униженный и жалкий, или... Или подразумевает победить. Как? А хуй его знает, как, даже ценой разрушения этого города. Чего мне его жалеть — он-то меня не жалеет. Совместно с другими, не я же один такой. Во всяком случае, никогда мой труп глупой деревяшкой не вынесут из отеля «Винслоу».

Страшная серьезность, какая-то пронзительность моего положения при первом пробуждении утром охватывает меня, я вскакиваю, пью кофе, смываю с себя сонные обрывки каких-то жалких русских песен и стихов, еще какой-то русской бредятины и сажусь к своим бумагам — то ли это английский язык, то ли то, что я пытаюсь написать. И я все время гляжу в окно. Эти здания подогревают меня. Ебанные в рот! Здесь я стал много ругаться. «Вряд ли мне удастся проявиться в этой системе», — думаю я, с тоской предвкушая длинный и трудный путь, но нужно попробовать.

...Самая дешевая пища, не всегда вдоволь, грязные комнаты, бедная, плохая одежда, холод, водка, нервы, вторая жена сошла с ума. Десять лет такой жизни в России и теперь все с начала — где ж, еб твою мать, твоя справедливость, мир? — хочется мне спросить. Ведь я десять лет работал там изо дня в день, написал столько сборников стихотворений, столько поэм и рассказов, мне удалось многое, я образ определенный русского человека в своих книгах сумел создать. И русские люди меня читали, ведь купили мои восемь тысяч сборников, которые я на машинке за все эти годы отпечатал и распространил, ведь наизусть повторяли, читали.

Но я увидел однажды, что там дальше не поднимусь, ну, Москва меня читает, да Ленинград читает, да еще в десятках крупных городов сборники мои попали, люди-то меня приняли, да государство-то не берет, сколько можно

кустарными способами распространяться, до народа-то не доходит то, что делаю, горечь-то в душе остается, что какого-нибудь Рождественского миллионными тиражами тискают, а у меня ни стихотворения не напечатали. Заебись вы, думаю, со своей системой, я у вас на службе с 1964 года, когда из книгонош ушел, не состою. Уеду я от вас на хуй со своей любимой женой, уеду в тот мир, там, говорят, писателям посвободней дышится.

И приехал сюда. Теперь вижу — один хуй, что здесь, что там. Те же шайки в каждой области. Но здесь я еще дополнительно проигрываю, потому что писатель-то я русский, словами русскими пишу, и человек я оказался избалованный славой подпольной, вниманием подпольной Москвы, России творческой, где поэт — это не поэт в Нью-Йорке, а поэт издавна в России все — что-то вроде вождя духовного, и с поэтом, например, познакомиться, там — честь великая. Тут — поэт — говно, потому и Иосиф Бродский здесь у вас тоскует, в вашей стране, и однажды, придя ко мне на Лексингтон еще, говорил, водку выпивая: «Здесь нужно слоновью кожу иметь, в этой стране, я ее имею, а ты не имеешь». И тоска была при этом в Иосифе Бродском, потому что послушен он стал порядкам этого мира, а не был послушен порядкам того. Понимал я его тоску. Ведь он в Ленинграде, кроме неприятностей, десятки тысяч поклонников имел, ведь его в каждом доме всякий вечер с восторгом бы встретили, и прекрасные русские девушки, Наташи и Тани, были все его, потому что он — рыжий еврейский юноша — был русский поэт. Для поэта лучшее место — это Россия. Там нашего брата и власти боятся. Издавна.

А другие ребята, мои друзья — те, кто в Израиль поехали, какими националистами, уезжая, были, думали там, в Израиле, приложение найти уму, таланту, идеям своим, считая, что это их государство. Как же, хуя! Это не их государство. Израилю не нужны их идеи, талантливость

и способность мыслить, нет, не нужны, Израилю нужны солдаты, опять как в СССР — ать, два, повинуйся! Ведь ты еврей, нужно защищать Родину. А нам надоело защищать ваши старые вылинявшие знамена, ваши ценности, которые давно перестали быть ценностями, надоело защищать «ваше». Мы устали от вашего, старики, мы уже сами скоро будем стариками, мы сомневаемся, следует ли, нужно ли. Ну вас всех на хуй...

«Мы». Хотя я мыслю себя отдельно, я все время возвращаюсь к этому понятию «мы». Нас здесь уже очень много. Так вот, нужно признать это, среди нас довольно много сумасшедших. И это нормально.

Постоянно трется среди эмигрантов некто Леня Чаплин. По-настоящему он не Чаплин, у него запутанная еврейская фамилия, но еще в Москве он был заочно влюблен в младшую дочку Чаплина и в честь ее взял себе псевдоним. Когда упомянутая дочка вышла замуж, у Лени был траур, он пытался отравиться. Я его знал в Москве и единожды был у него на дне рождения, где, кроме меня, был только один человек — полунормальный философ Бондаренко, идеолог русского фашизма, подсобный рабочий в винно-водочном магазине. Меня поразила узкая, как трамвай, Ленина комната, все стены ее были оклеены в несколько слоев большими и малыми великими людьми нашего мира. Там были Освальд и Кеннеди, Мао и Никсон, Че Гевара и Гитлер... Более безумной комнаты я не видел. Только потолок был свободен от великих людей. Одни великие головы наклеивались на другие, слой бумаги был толщиной в палец.

Теперь Леня, после пребывания в различных штатах Америки и, как говорят злые языки, в нескольких штатных психбольницах, живет в Нью-Йорке и получает вэлфер. Использует он свое пособие своеобразно. Всю сумму, около 250 долларов, он откладывает. Он собирается в будущем путешествовать, а может, поступит в американскую

армию. Ночует он у друзей, а питается... из мусорных корзин на улице он вынимает то кусок пиццы, то еще какую-то пакость. При этом он неизменно произносит одну и ту же фразу: «Курочка по зернышку клюет».

С этим сумасшедшим Леней, который интеллигентный все-таки юноша, и Ницше в свое время почитывал, и какие-то буддийские притчи о трех слонах писал, мы в некотором роде родственники. Племянница моей второй жены, Анны Рубинштейн, была его первой женщиной. Блудливая Стелла, у которой, по выражению одного моего давнего знакомого, «по пачке хуев в каждом глазу», выебла длинного шизоидного Леню. Мой родственничек пожил уже и в Израиле, до Америки.

Леня всегда у кого-нибудь сидит и что-то жует, порой заходит он и к моему соседу Эдику Брутту.

— Что, еб твою мать, — говорю я ему, — опять сплетни какие-то принес, все шляешься, пиздюк! Здоровый лоб, сидел бы дома, писал бы что-нибудь, работал, — говорю я.

— Какой ты грубый стал, Лимонов, — говорит бородастый и гололобый Леня, одетый в рваные джинсы.

Он меня немного боится. Даже форма его головы и сутулость высокой фигуры свидетельствуют, что он сумасшедший от рождения. Я не вижу в этом особого греха или несчастья, я только весело констатирую факт.

Совсем другая форма безумия поселилась в Сашеньке Зеленском. Этот тихоня с усами известен среди нас тем, что у него гигантская для эмигранта сумма долгов. Он нигде не работает, никаких пособий не получает и живет исключительно в долг. На стене его студии, которую он снимает не где-нибудь, а на 58-й улице, за 300 долларов в месяц, красуется гордая надпись «Мир — я должен тебе деньги!».

Зеленский окончил в Москве Институт международных отношений. Папа его был какой-то шишкой в журнале «Крокодил». Приехав в Америку, Саша вначале работал

экономистом по морским перевозкам, это его профессия, и так как он знает английский язык, то его взяли по специальности. Он там довольно прилично зарабатывал, но его безумие, естественно, в нем шевелилось и требовало жертв, воплощения. Саша решил, что он великий фотограф, хотя в СССР он никогда не снимал. Думаю, фотографию тощий и похожий на помесь двух русских писателей — Белинского с Гоголем — Саша выбрал потому, что с этой «модной» профессией, по его мнению, легче всего заработать деньги. Если бы он решил, что он фотограф и при этом снимал, трудился, пытался, искал, все было бы ничего, и это называлось бы просто «фанатизм». Но дело серьезнее, он ничего не снимает, ничего не умеет и развивает бешеную деятельность по займу все новых и новых сумм. Новые займы наползают на старые... Это единственное, что он умеет делать. Как ему удастся? Не знаю. Может, он надевает тубетейку и идет в синагогу. Так делают многие...

Сколько у него долгов? Не знаю. Может быть, 20 тысяч. Он звонит людям, которых он один раз в жизни видел, и просит денег, и очень обижается, когда ему отказывают. За свою студию он не платил уже громадное количество времени, как его до сих пор не выгнали, я не знаю. Он перебивается с хлеба на воду, худ, как скелет, но работать почему-то не идет. Одно время он работал официантом в Биф-Бюргере на 43-й улице, но по прошествии короткого времени его выгнали.

У него тоненький голосок, стоптанные башмаки и дырявые джинсы. Раньше он еще имел хуевую привычку вместе с Жигулиным, тоже мальчишкой-фотографом, живущим этажом ниже, ругать вслух для собственного успокоения прославленных фотографов. «Хиро? Говно. Аведон — старый халтурщик...» Мелькали имена. Зеленский и Жигулин знали, как надо делать шедевры, но почему-то их не делали. Сейчас они чуть поутихли.